

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Летом 1940 года меня, девятнадцатилетнюю дурочку, отправили жить к тете Пег в Нью-Йорк. У тети был свой театр.

Чуть раньше меня вытурили из колледжа Вассар, потому что я прогуливала занятия и в итоге провалила все до единого экзамены в конце первого курса. На самом деле, несмотря на плохие оценки, я не была совсем уж законченной тупицей, но, видимо, если ничего не учить, то даже ум не поможет. Сейчас я уже не помню, чем занималась в те часы, когда должна была сидеть на лекциях, но, зная себя, рискну предположить, что вертелась перед зеркалом. (Помню, как раз в том году я пыталась научиться делать «ракушку» — освоение этой прически казалось мне самым важным делом в жизни, и далось оно мне нелегко, хотя в Вассаре все равно не оценили бы мое достижение.)

Я так и не прижилась в колледже, хотя возможностей было предостаточно. В Вассаре учились самые разные девушки и существовали самые разные группировки, но ни одна из них меня не привлекала — я просто не видела себя их частью. В том году там развелось множество политических активисток: они носили строгие черные брюки и обсуждали мировую революцию. Но мировая революция меня не интересовала. (И до сих пор не интересуется. Хотя мне очень нравились

их черные брюки — такие шикарные, вот если бы еще карманы не топорщились.) Были в Вассаре и студентки, отважно вгрызающиеся в гранит науки, — им предстояло стать врачами и адвокатами в те времена, когда женщины в подобных профессиях попадались еще довольно редко. Они могли бы меня привлечь, но нет. Начнем с того, что я их не различала. Все они носили одинаковые бесформенные шерстяные юбки, словно сшитые из старых свитеров. При виде этих юбок настроение у меня сразу портилось.

Не то чтобы Вассар был начисто лишен блеска, нет. Например, студентки с факультета средневековой литературы — романтичные, волоокные — были весьма миленькие, как и самовлюбленные девушки творческого склада с распущенными длинными волосами или великосветские аристократки с точеными профилями итальянских гончих. Но ни с кем из них я так и не подружилась. Вероятно, потому что интуитивно понимала: любая в этом колледже умнее меня. (Подростковая паранойя тут ни при чем: я до сих пор считаю, что все там были умнее меня.)

Честно говоря, сама не знаю, почему я оказалась в колледже, — разве что следовала предначертанию судьбы, смысл которого мне никто не объяснил. С раннего детства мне твердили, что я пойду в Вассар, но никто не говорил зачем. Для чего это все? Что я должна извлечь из обучения? И зачем мне жить в пропахшей вареной капустой комнатухе с неулыбчивой соседкой, которая всерьез решила посвятить свое будущее общественным реформам?

Не говоря уже о том, что к моменту поступления в колледж я наелась учебы досыта. Сначала я несколько лет провела в школе для девочек имени Эммы Уиллард в Трое, штат Нью-Йорк, где преподавали блестящие выпускницы семерки лучших женских колледжей Северо-Востока США, — разве этого мало? С двенадцати лет я отбывала срок в интернате, и мне казалось, что с меня хватит. Сколько книг нужно прочесть,

рудниками бурого железняка. Да, я разочаровала отца, но ему было не до меня. Ему, промышленнику и изоляционисту, и без того хватало проблем: разгорающаяся в Европе война могла поставить бизнес под угрозу.

Что до моего старшего брата Уолтера, тот учился на отлично в Принстоне, и я его не интересовала — хотя, конечно, он не преминул выразить неодобрение по поводу моего безответственного поведения. Сам-то Уолтер ни разу в жизни не поступил безответственно. Еще в школе он пользовался таким почтением у одноклассников, что те прозвали его Пророком (я не шучу, честное слово). Теперь он изучал инженерное дело: хотел построить инфраструктуру, которая поможет людям всего мира. (А я даже не знала, что такое инфраструктура, — можете добавить это к перечню моих грехов.) Хотя мы с Уолтером были примерно одного возраста — разница в два года, — мы даже в детстве никогда не играли вместе. Когда ему исполнилось девять, он убрал из своего поля зрения все, что касалось детских забав, включая младшую сестру. Для меня в его жизни места не нашлось, и я это понимала.

У друзей и подруг тоже была своя жизнь. Их ждали колледж, работа, замужество, взрослые дела — все то, что меня совершенно не интересовало и было выше моего понимания. Вот так и получилось, что никто меня не замечал и не собирался развлекать. Меня обуяли тоска и вялость. От скуки буквально подводило живот. Всю первую половину июня я бросала теннисный мяч о стену гаража и насвистывала «Маленький коричневый кувшинчик»¹, пока родители не взбеленились и не отправили меня к тете в город. И я их не виню.

Нет, они, конечно, опасались, что в Нью-Йорке из меня сделают коммунистку и наркоманку, но до скончания веков

¹ Песня, написанная Джозефом Истберном Виннером в 1869 году и получившая второе рождение благодаря исполнению оркестром Гленна Миллера. — *Здесь и далее примеч. пер.*

слушать, как дочь швыряет о стенку теннисный мяч, еще хуже.

Так я и оказалась в городе, Анджела, и вот там-то все началось.

В Нью-Йорк меня отправили на поезде — и что это был за поезд! «Эмпайр-Стейт-экспресс» прямиком из Ютики, сияющий хромированный механизм для отсылки бестолковых дочерей куда подальше. Вежливо попрощавшись с мамой и папой, я вручила свой багаж проводнику в красной шапочке и тут же почувствовала себя очень важной персоной. Всю дорогу до Нью-Йорка я просидела в вагоне-ресторане, где пила солодовое молоко, ела груши в сиропе, курила и листала журналы. Да, меня выгнали из дому — но с каким шиком!

В то время, Анджела, поезда были гораздо роскошнее нынешних.

Впрочем, обещаю не твердить через слово, мол, «в наши дни было лучше». Помню, в молодости я терпеть не могла стариковские сетования такого рода. (Да всем плевать! Всем плевать на ваше нытье про «золотое времечко», развалины вы старые!) К тому же, смею тебя заверить, я отдаю себе отчет в том, что далеко не все было лучше в 1940-е. К примеру, дезодоранты и кондиционеры тогда изрядно уступали нынешним, и воняло от всех жутко, особенно летом, а еще у нас был Гитлер. Но поезда, несомненно, были роскошнее нынешних. Вот когда ты в последний раз наслаждалась солодовым молоком и сигаретой в поезде? То-то же.

Я села в поезд в симпатичном голубом платье с узором из птичек, желтым кантом вдоль ворота, не слишком облегающей юбкой и глубокими карманами на бедрах. Я помню это платье с такой точностью, потому что, во-первых, всегда запоминаю, что на ком надето, — всегда, слышишь? — и, во-вторых, я сама его сшила. И потрудилась на славу. Платье

длинной точно до середины икры получилось кокетливым и эффектным. Помню, я пришла к нему подплечники в отчаянной попытке хоть немного приблизиться к образу Джоан Кроуфорд, но сомневаюсь, что сработало. В этом платье, дополненном скромной шляпкой-колокольчиком и позаимствованной у мамы простой голубой сумочкой (набитой исключительно косметикой и сигаретами), я выглядела не столько богиней киноэкрана, сколько тем, кем и являлась: едущей в гости к родственникам девятнадцатилетней девственницей.

В Нью-Йорк девятнадцатилетнюю девственницу сопровождали два больших чемодана. В одном путешествовали мои наряды — каждая вещь аккуратно сложена и завернута в папиросную бумагу; во втором — ткани, тесьма и швейные принадлежности, то есть все, из чего можно сшить еще больше нарядов. Кроме того, я везла с собой громоздкий футляр со швейной машинкой — тяжелой неповоротливой штуковиной, крайне неудобной в транспортировке. Но машинка была мне как родная, и без нее я не могла жить.

Поэтому она отправилась со мной.

Этой машинкой — и всем, что впоследствии у меня появилось благодаря ей, — я обязана бабушке Моррис, поэтому давай отвлечемся на минутку и поговорим о ней.

При слове «бабушка», Анджела, тебе, верно, представляется милая старушка-одуванчик, убеленная сединами. Но это не про бабушку Моррис. Она была высокой темпераментной стареющей кокеткой с крашенными под красное дерево волосами; ее повсюду сопровождало облако духов и сплетен, а одевалась она как циркачка.

Это была самая яркая женщина в мире — яркая во всех смыслах слова. Бабушка носила платья из жатого бархата невероятных цветов — она не называла их «кремовый», «малиновый» или «голубой», как прочая публика с убогим вообра-

жением; нет: она говорила «пыльная роза», «бордо» и «делла Роббиа». У нее были проколоты уши, в отличие от большинства приличных дам тех времен; в обитых бархатом бабушкиных шкатулках для драгоценностей хранился клубок дешевых и дорогих бус, сережек и браслетов, который можно было распутывать бесконечно. У нее имелся особый автомобильный костюм для послеполуденных выездов в город и такие огромные шляпы, что в театре она укладывала их рядом с собой на соседнее кресло. Ей нравились котятка и косметика, которую она заказывала по почтовым каталогам; она любила читать статьи о сенсационных убийствах в таблоидах и писала романтические стихи. Но больше всего на свете бабушка любила драму. Она не пропускала ни одного спектакля в нашем городе и обожала движущиеся картинки — кино. Я часто ходила с ней за компанию, так как вкусы у нас совпадали. (Нас обеих привлекали сюжеты, где невинных девиц в воздушных платьях похищают опасные мужчины в зловещих шляпах, а потом спасают другие мужчины с гордыми подбородками.)

Понятное дело, я любила бабушку Моррис.

Впрочем, больше в нашей семье ее не любил никто. Все, кроме меня, считали ее позором и недоразумением, особенно ее невестка (моя мать), для которой лучше было умереть, чем прослыть фривольной. Говоря о бабуле, мама неизменно морщилась и называла ее не иначе как «эта вертихвостка».

Моя мать, как ты, верно, уже догадалась, романтических стихов не писала.

Но именно бабушка Моррис научила меня шить.

Она была превосходной швеей. (Ее, в свою очередь, тоже обучила бабушка, всего за одно поколение поднявшаяся от прислуги-эмигрантки из Уэльса до богатой американской леди, в немалой степени благодаря умению обращаться с иглой и ниткой.) Бабушка Моррис и из меня вознамери-

лась сделать превосходную швею. Поэтому мы не только ели ириски в кино и читали друг другу журнальные заметки о том, как невинных белых девушек продают в сексуальное рабство, но каждую свободную минуту посвящали шитью. И не просто шитью. Бабушка Моррис требовала от меня совершенства. Она делала десять стежков, затем предлагала мне сделать следующие десять, и если у меня не получалось столь же безупречно, как у нее, все распарывала и велела повторить. Она научила меня обращаться с нежнейшими материалами вроде тюля и кружева, и вскоре уже ни одна ткань меня не пугала, даже самая капризная. А крой! А подкладка! А выгачки! В двенадцать лет я могла сшить корсет на китовом усе. Хотя никто, кроме бабушки Моррис, после 1910 года корсеты не носил.

В том, что касалось шитья, бабуля соблюдала строгость, и я охотно покорялась. Ее критика жалила, но не смертельно. Меня так увлекало создание нарядов, что обучение было только в радость, и я знала, что бабушка хочет лишь одного: сделать из меня настоящего мастера.

Ее редкая похвала окрыляла меня, и я еще усерднее овладевала искусством кройки и шитья.

На тринадцатилетие бабушка купила мне швейную машинку, которая впоследствии и отправилась со мной в Нью-Йорк на поезде, — изящный черный и убийственно мощный «Зингер-201». (Он брал даже кожу; при желании я могла бы прострочить обивку сидений «бугатти».) По сей день не припомню лучшего подарка. Я взяла «Зингер» с собой в школу-интернат и благодаря этой машинке обрела невероятное влияние в среде привилегированных учениц, которые мечтали хорошо одеваться, но сплошь и рядом не обладали достаточными навыками. Стоило одной сболтнуть, будто я могу сшить что угодно — а я и правда могла, — и ко мне выстроилась очередь. Девчонки из школы Эммы Уиллард одна за другой стучались ко мне в дверь, умоляя расставить

платье в талии, подшить подол или подогнать по фигуре прошлогодний вечерний наряд старшей сестры. Ко мне пришла популярность — а это единственное, что имеет значение в школе. Да и не только в школе.

Должна сказать, была и еще одна причина, почему бабушка решила научить меня шить: фигура у меня не укладывалась в стандарты. С раннего детства я была слишком высокой и худой. Миновал переходный возраст, но я только еще больше вытянулась. Годы шли, а у меня по-прежнему не было бюста; туловище тянулось ввысь, как ствол дерева, а руки и ноги служили ему ветвями. Ни одно покупное платье не пришлось бы мне впору, так что проще было шить самой. А еще бабуля Моррис — благослови Господь ее душу — научила меня одеваться под стать своему высокому росту и не выглядеть при этом акробатом на ходулях.

Если тебе покажется, что я недовольна собственной внешностью, поверь, это не так. Я просто излагаю факты: да, я высокая и тощая, тут не поспоришь. Но если ты с тоской готовишься к истории гадкого утенка, который переехал в город и превратился в прекрасного лебедя, можешь не волноваться: моя история совсем другого сорта.

Я всегда была красавицей, Анджела.

Более того: я всегда это знала.

Безусловно, именно поэтому в вагоне-ресторане «Эмпайр-Стейт-экспресс» с меня не сводил глаз красивый мужчина, наблюдая, как я пью солодовое молоко и ем груши в сиропе.

Наконец он подошел и предложил мне огонька. Я кивнула, он сел напротив и начал со мной флиртовать. Мне очень льстило его внимание, но я совершенно не умела кокетничать и не знала, как себя вести. Поэтому в ответ на все его попытки завязать разговор я только глазела в окно и притворялась, будто погружена в раздумья. Я даже немного хмури-

лась, силясь выглядеть серьезной и значительной, хотя собеседник, наверное, счел меня скорее близорукой и угрюмой.

Ситуация грозила обернуться еще большей неловкостью, но в конце концов меня отвлекло собственное отражение в окне, которое надолго заняло мое внимание. (Прости, Анджела, но любая юная красотка готова бесконечно рассматривать себя в зеркале, так уж они устроены.) Оказалось, даже прекрасный незнакомец интересуется меня куда меньше формы собственных бровей. Дело было даже не столько в степени их ухоженности — которая меня тоже бесконечно волновала, — сколько в том, что тем летом я пыталась научиться поднимать одну бровь, пока другая остается неподвижной, как у Вивьен Ли в «Унесенных ветром». Тренировки, как ты можешь догадаться, требовали предельной концентрации. Время летело незаметно; утонув в собственном отражении, я забыла обо всем.

А когда очнулась, мы были уже на Центральном вокзале, моя прежняя жизнь осталась позади, а прекрасный незнакомец исчез.

Но не волнуйся, Анджела, прекрасных незнакомцев в этой истории будет вдоволь.

И кстати! Я же забыла рассказать — если, конечно, тебе интересно, — что бабушка Моррис умерла за год до того, как поезд доставил меня в Нью-Йорк. Ее не стало в августе 1939 года, всего за пару недель до начала моей учебы в Вассаре. Ее смерть не была неожиданной, бабушка уже несколько лет болела, но эта потеря — потеря лучшего друга, наставницы, самого близкого человека — потрясла меня до глубины души.

А знаешь, Анджела, не исключено, что именно поэтому я так плохо училась на первом курсе Вассара. Может, я и не настолько тупая и ленивая. Может, мне попросту было грустно.